

Любовь ЛИХОМАНОВА

НЕУПАВШАЯ ЗВЕЗДА

За околицей деревни халестились. Именно так в Лябзунке исстари называли не к месту самодеятельное исполнение русских народных песен. Громкий мужской голос попеременно то басом, то баритоном распевал: «Всю-то я все-ле-нную объе-ха-а-ал-л, ни-и-игде ми-илой не наше-ел...»

Вихрастый, синеглазый ученик начальной школы Степан Соколов прислушивался к доносившемуся издали голосу, восседая, на манер всадника, на козлах для распиловки дров, которые притулились в густой траве возле огородного штакетника. По основному назначению козлы использовались в основном осенью и зимой, а летом служили отличным реквизитом для игр в «кавалеристов». Из одежды на наезднике были только старенькие джинсовые шортики, которые почти полностью оголяли тоненькие, но мускулистые ноги. На мальчишечьей голове, скрывая трогательно оттопыренные розовые ушки, возвышался самодельный тюрбан, сооруженный из выцветшей за лето футболки, зрительно увеличивая загорелую худенькую фигурку. Под козлами развалился смешной, круглый, как бочонок, неуклюжий щенок Бантик. Свою кличку песик получил благодаря белому пятну на груди посреди ярко-рыжей шкурки. По тому, что пение становилось все отчетливее и отчетливее, стало понятно, что его источник приближается.

Прохладное августовское утро, купаясь в горячих солнечных лучах, плавно перетекало в жаркий полдень. Бабушка Степана по матери, Татьяна Ивановна Ракитина, сидела на маленькой деревянной скамеечке, поставленной прямо на подсохшую грядку, и отрезала большими канцелярскими ножницами сухую ботву от золотистых головок лука. Повернув голову в сторону внука, она заправила выбившуюся из-под фатки (так в деревне называли головной платок) седую прядку и, укоризненно покачав головой, проговорила:

— Гли-ко, опять уж Гринька шары налил! Ковды и успел? А ить, у яво загон картошки не копан, а он все валаңдається. Лонись ведь из армии-то воротился, да выладиться никак не может... О-хо-хо-хо-нюшки!

Между тем «певец» поравнялся с калиткой во двор Ракитиных и, прервав песню, покачиваясь, задорно выкликнул:

— Здорово живите, бабка Таня! Труд на пользу! Степка-а-а, дай пять!

Паренек резво соскочил с «коня» и побежал навстречу. За ним рыжим мячиком с громким лаем покатились Бантик. Татьяна Ивановна едва заметно вздохнула и прокричала с огорода в ответ:

— Здоровей видали! Не налызло эстоко лопать-то? Загон-от картофельный так и стоит, сгноишь — ить, непутевой!

Гринька пожал протянутую Степкину руку, потрепал за ухо вьющегося у ног щенка, улыбнулся какой-то грустной, далекой улыбкой и, обреченно махнув рукой, молча пошагал нетвердой походкой дальше, к родительскому дому на краю деревни, куда он воротился год назад из Чечни.

Два непростых года в разведоте превратили здоровяка и балагура Гришку в серьезного и сдержанного старшину Григория Данилова, пометили ранней сединой и погасили озорной блеск в добрых зеленых глазах. Мать демобилизованного солдата с весны тяжело занедужила, отдав дом и хозяйство на попечение сына. А тот вдруг непредвиденно стал бедовым. Первая деревенская красавица Катька, проводив его в армию, выскочила замуж за аспиранта сельхозинститута и укатила в город. Рваные раны души затягивались медленно, лекарство все чаще виделось на дне стакана. Пьянство до добра не доводит, и Григорий медленно, но верно погружался в депрессию со всеми вытекающими последствиями, превращаясь в беспутного Гриньку. Жалеючи, из колхозных механизаторов его перевели в ночные сторожа, и днем он был абсолютно свободен.

Повиснув на калитке, Степка вдалеке улицы выглядел давнишнего приятеля, который тоже проводил каждые летние каникулы в Лябзунке. Не заметить Кольку было трудно, так как он, в противовес дружку, рос коренастым краснощеким бутузом с россыпью рыжих веснушек на любопытном курносом носике и все лето носил одну и ту

же полинялую красную футболку с надписью «Я — мужик».

— Ко-оль-ка! — радостно закричал Степа. — Айда на угоры!

— Куды наладился, пострел? Обедать пора! — отозвалась со двора вместо Кольки бабушка Таня.

— Ну, баба, я не хочу ишо. Я недолго погуляю и приду. Ну отпусти... ну пожалуйста... ну баба... — занял Степка.

— Буде стонотить! Я ить не унимаю! Поди с Богом! Недолго токо! Губница в печи уж, поди, дошла.

— Ладно, баба, я быстро! — прокричал сорванец уже за калиткой, на ходу одевая сташенную с вихров футболку, и понесся, подпрыгивая в теплой пыли, вдоль улицы наперегонки с Бантиком.

Угоры начинались сразу за околицей. Друзья любили там играть, перекатываясь кубарем по крутым склонам, изображая из себя спецназовцев в разведке. В конце июня там водилась самая сладкая на свете земляника, а позже можно было до одури валяться в душистом клевере, без риска получить нагоняй за испачканную ягодным соком одежду. Но самое интересное, с точки зрения мальчишек, было то, что в подножии большого угора прятался заброшенный колодец. Это был древний сруб, опущенный в землю несколько глубже верхнего уровня грунтовых вод, выполненный из прочной, малогниющей осины, оттого и прослужил очень долго. Когда-то, очень давно, согласно обычаю, в деревне построили два колодца. Один, в центре, использовали ежедневно для питья и бытовых нужд. Другой — на отшибе, в логу под угором, поросшем ивняком. Со стародавних пор сельчане полагали, что существ, населяющих близлежащий лес, можно умилостивить, дав им возможность пользоваться чистой питьевой водой. Ко второму колодцу ходили очень редко, только в тех случаях, когда кто-нибудь заболел и была необходима помощь «хозяев леса». Ребятам строго-настрого было запрещено даже приближаться к этому месту. Но иногда Колька и Степка тайком осторожно пробирались сквозь ивовый частокол и, пыхты от натуги, вдвоем сдвигали тяжелую, искореженную временем, поросшую густым мхом крышку. Вот и сегодня, замирая от страха и любопытства, они заглядывали в густую тягучую темноту. Оба много раз слышали загадочные поверья, связанные с такими колодцами. О том, что меч, опущенный в их воду, становился разящее; что во время нападения на деревни жители бросали в колодезь самое ценное, надеясь, что потом им удастся достать его назад. Доставать получалось очень редко. Но каким-то чудодейственным образом, благодаря низкой температуре, предметы на дне криницы не разрушались, а лишь немного старели. И мальчишки мечтали достать какие-нибудь древние вещи. Вероятно, в незапамятные времена колодец был средней глубины, примерно метров десять. Стенки от времени густо поросли темно-зеленым мхом. Но старый сруб давно обрушился и осыпался на дно, сократив глубину колодца примерно на две трети, грунтовые воды намыли достаточно высокий и плотный слой песка, а остатки подземной воды виднелись где-то внизу небольшими блюдечками меж гнилых бревен, валежника и разнообразного лесного мусора, неведомыми путями попавшего туда.

— Эх! Слезить бы... Представь, монеты бы какие-нибудь, или сосуд драгоценный, или шлем старинный достать... Обзавидовались бы пацаны! — склоняясь над остатками сруба, размечтался Степка.

— Страшно, однако... — отозвался Колька — лешой его знает, че там?

— Не поминай нечистого возле колодца, беда случится! — строго сказал Степа и, вздохнув, отошел в сторону от колодезной ямы.

— Может, пошуровать там лесиной? — предложил Колька и стремглав умчался в заросли ивняка. Степка уселся на траву рядом со срубом, в коленки ему тут же уткнулся мокрым носом Бантик. Бесперерывно виляя куцым хвостиком, щенок с радостным визгом облизывал то одну, то другую щеку маленького хозяина.

— Отстань от меня, измусолил всего! — шутливо ворчал мальчик, уворачиваясь.

— На-ко вот, лучше, потренируйся! — и, подняв сухую ивовую ветку, запустил ее подалее в кусты.

Бантик сломя голову бросился вдогонку. Через минуту он уже стоял перед тренером с «добычей» в зубах. Так повторялось несколько раз, пока в какой-то момент брошенная ветка не полетела в сторону колодца. Бантик помчался за ней и со всех лап... рухнул в открытую яму. Когда Колька, вспотев от усилий, наконец-то подволок к срубам найденный в ивняке длинный сухой ствол, его приятель стоял на коленках у края колодезной ямы и, размазывая по щекам слезные дорожки, подвывал вниз дрожащим от волнения и страха голосом:

— Банти-ик... Бантиче-ек... Да как же... как так... Что делать-то?...

В ответ из подземной темноты раздавалось жалобное поскуливание.

— Степа! Ты че? — спросил Колька, замирая от страшной догадки.

— Бантик.... за палкой... и туда... — заревел в голос Степка.

— Не реви! Сейчас мы ему лесину опустим! — приказал Колька. — Хватайся за другой конец!

Они опустили в яму ствол, но, сколько бы ни уговаривали Бантика подняться по нему, ничего не происходило. Песик скулил все отчаяннее и отчаяннее. Поняв, что все их спасательные попытки бесплодны, они вытащили лесину обратно. Степа упал ничком в траву и зарыдал. У Кольки тоже предательски защипало глаза, но он сдерживался от плача, поскольку всегда помнил, что старше восьмилетнего дружка на целый год.

— Степа, айда на дорогу! Может, взрослых кого увидим! — скомаңдовал мальчик. Степа поднял голову, легко вскочил на ноги, заглянул в яму и крикнул:

— Держись, Бантик! Мы скоро! Мы сейчас!

И ребята понеслись что есть мочи в сторону деревни.

Казалось, счастье уже улыбалось им, когда они, запыхавшиеся, выбежали на дорогу, ведущую из Лябзунки, и увидели приближающуюся черную «Волгу» дядьки Саши Воротилова, дачника-морехода, который приезжал сюда каждое лето из Мурманска. Среди обитателей Лябзунки Воротилов получил прозвище Франт, поскольку любил красиво, со вкусом одеваться и слыл аккуратистом. Вот и сейчас, притормозив перед отчаянно машущими руками и что-то кричащими мальчишками, он не открыл дверь, а лишь приспустил боковое стекло и спросил:

— Чего дуриете? — и недовольно сморщился от вида струившейся через щель пыли, поднятой машиной и падающей на светло-кремовый, безукоризненно отглаженный костюм.

— Дя-яденька Саша!! Там... там... — начал сбивчиво объяснять Степа, но не удержался от захлестнувшего горя и просто заревел белугой.

— Помогите нам, дядя Саша! У нас Бантик в колодец упал, там под угором... — умоляюще проговорил Колька, наклоняясь к автомобильному окну.

— Какой еще бантик? Вы чего, девчонки, что ли? — скривился, глядя на часы, Франт. Он направлялся в райцентр, на концерт именитого артиста, в кои-то веки проездом появившегося в этой глуши.

— Да нет... это щенка так зовут, маленького... Свалился в старый колодец, помогите его достать, пожалуйста!

Франт мысленно представил себе картину спасения: грязная яма, вонючий щенок, неизбежно испачканный новый прикид, потерянное время...

— Собака не человек, сам вылезет!! Нечего туда ползать было! — строго проговорил он и... нажал на газ. Машина сорвалась с места и скрылась из вида.

Обескураженные друзья тяжело опустились на дорожную обочину. С минуту помолчали. Колька сосредоточенно сопел. Степа размазывал по лицу беспрерывно бежавшие ручьем слезы. В какой-то момент его пальцы зацепили веревочку нательного крестика. Прижав крестик к соленым от слез губам, Степа вдруг явственно увидел бабушку Таню, стоящую вечером перед иконами и шепчущую слова молитвы.

— Господи, миленький, помоги!! — горячо пролепетал мальчик. Потом резво поднялся на ноги. — Надо за верёвкой стонять, Колька! Вспомнил! Я по телику видал, как лося из канавы мужики доставали! А ведь Бантик не лось, он ведь не тяжелый, мы его и сами достанем, правда же?! Только за веревкой-то ты беги, а то меня баба Таня не отпустит боле, да еще и крапивою достанется, время-то давно уж обед. И они разбежались в разные стороны: Колька — в деревню, Степа — назад к колодцу.

Колькина бабушка Надя копошилась в огуречном парнике, поэтому, задыхаясь от быстрого бега, он проскочил незамеченным на крыльцо, затем в чулан, потом в сарай. Веревки нигде не было видно. Раздумывая, как и где еще поискать, мальчуган остановился в дверях сарая. Его взгляд упал на столбы, вкопанные через весь двор друг напротив друга. Между ними тянулся длинный привязанный шнур для сушки белья. Заскочив в избу, Колька достал с кухонной полки ножик, которым бабушка резала хлеб, прихватил массивную дубовую, сделанную ещё прадедом табуретку и одной минутой срезал и смотал шнур. Бросив табуретку и ножик на крыльце, опрометью понесся обратно к угорам.

У колодца никого не было. Трава вокруг ямы была вытоптана сплошняком, лесины рядом не валялось... Колька недоуменно повертел головой во все стороны и закричал: — Сте-е-епка!

В ответ услышал у себя прямо под ногами сначала лай, а потом глухой дрожащий голос:

— Туто-ка я, Колька...

Парнишка улегся на траву у самого края ямы и заглянул в пугающий полусумрак.

— Ты че, Степа? Как ты туда попал-то? — взволнованно спросил он.

Степа сидел скрючившись, стараясь не шевелиться, на самом верху завала из старых прогнивших венцов, давным-давно упавших на дно. Под тяжестью тела остатки бревен поминутно оседали вниз, но, зацепляясь о валежник и другие бревна, все еще

не доставали до воды под слоем песка. Рядом на другом венце примостился, поскуливая, грязный взлохмаченный Бантик.

— Да я руку Бантику протягивал, на лесину налег, а она сломилась, ну, я и полетел... Кидай верёвку скорее! Тут холодно и страшно! — заторопил Степка. — Сначала Бантика вытащишь, потом меня!

Пока Степа непослушными от нетерпения руками обматывал бельевым шнуром вьющегося вьюном от страха щенка, гора валежника под ним предательски трещала и качалась. Наконец, Колька вытянул Бантика наверх. Белое пятно на груди окрасилось серо-зелёным, а сам собачонок был до такой степени испачкан, что невозможно было определить, какого он цвета. Освободив шнур, Колька тут же сбросил его опять в яму.

— Держи, Степа! Привязывайся! — крикнул он, свешиваясь над колодцем. Сзади него яростно, поминутно припадая на передние лапы, по краю ямы с бешеным лаем бегал Бантик, рискуя опять свалиться.

Степка негнушными пальцами привязал шнур к себе на пояс и крикнул наверх:

— Тяни!!

Колька попробовал было тянуть, но шнур не сдвинулся даже на сантиметр. После нескольких тщетных попыток юный спасатель решил привязать конец шнура к себе и ползти от колодца. Но, как только он невероятным усилием едва заметно дернул шнур, раздался треск, и бечева лопнула как раз посередине, и тот конец, что был привязан к Степке, ускользнул вниз. Колька поднялся с травы на корточки и все-таки заревел. От бессилия.

— Коль-ка-а! Да не реви ты, беги скорее к бабе Тане! Наплевать на крапиву! Пускай стегает!! Беги-и-и!! — из колодца донёсся приглушенный Степин голос.

— Я сейчас, старик, я — быстро! — прокричал в ответ в яму Колька и очертя голову бросился бежать.

За околицей снова халестились. Татьяна Ивановна устало подняла голову и прислушалась. «Что ныне за концерты-то такие?» — едва успела подумать она. В калитку влетел взбудораженный, мокрый, грязно-зелёный, обмотанный по поясу обрывком бельевого шнура, ревущий во все горло соседский внук Николка.

— Баба Та-аня-я!! — завопил он. — Степка в колодец лесной упа-ал!! Да-ав-но-о-о уже-е-е!

— Господи, помилуй! — всплеснула руками Татьяна Ивановна и поспешно бросилась из огорода. — Где? В какой? Да что же делать-то? Ой, горе-то какое!! Да ить в деревне-то и мужиков нету, все на жатве! Ой, Господи! — сорвав с себя выдавший виды старый фартук, машинально сунув ножницы в карман, халата она побежала на негнущихся ногах к калитке.

— Ба-ба Та-аня, а Гри-инька-то до-ма, по-оди? — захлебываясь и всхлиывая от жалости и к дружке, и к этой растерянно заметавшейся туда-сюда старушке, и к себе, проговорил Колька.

— А и правда! Беги-ко, родимый, к нему скорее! Шыбче беги! А я-то в лог побегу... Ох, Господи! Спаси и сохрани! — прокричала она, неуклюже выбегая со двора.

Гринька распластался на голой лавке, стоявшей у правой стены горницы, и безучастно смотрел в давно небелёный потолок. На столе, покрытом немойтой клеенкой, возвышалась ополовиненная бутылка самогона, заткнутая самодельной тряпочной пробкой. На большой треснутой тарелке валялись разрезанный пополам соленый огурец и заветренная горбушка ржаного хлеба. По клеенке беззастенчиво разгуливали обнаглевшие от безнаказанности мухи. Рядом за изгородкой тихонько постанывала лежащая в полузабытьи мать. Хмель потихоньку выветривался из головы, уступая место невеселым думкам. Гринька валялся и думал о том, что жизнь его теперь никчемная и никому не нужная. И зачем, и почему он так живет, и нужно ли вообще ему теперь жить?!

Колька вихрем ворвался в сени, забарабанил кулаками по двери в избу, отворил ее и с порога заголосоил:

— Дядька Гриша, дядька Гриша! Скорей, скорей!! Степка в лесной колодец провалился!!

Гринька подхватился, резко соскочил с лавки и, мгновенно протрезвев окончательно, как был, босиком выскочил во двор. Стремительно проскочил калитку и понесся на угоры. Колька, хлюпя носом, бросился вслед.

— Только бы успеть, только бы успеть! — без конца повторял Гришка, приближаясь к околице. Он обогнал Степкину бабку, задышавшуюся от быстрой ходьбы, махнул через соседские огороды напрямки. Перед лицом опасности вернулись к нему и военная выправка, и сноровка разведчика.

У края открытой колодезной ямы понуро лежал и поскуливал Бантик. Подбежав к яме, Гришка крикнул в зияющую пустоту:

— Эй, братец! Ты живой?!

- Ж-жи-ивой... – еле слышно из темной глубины отозвался детский голосок.
- Держись, браток! Сейчас мы тебя эвакуируем!

Только сейчас спасатель понял, что нет у него ничего для спасения, второпях даже верёвку не захватил. Перекрестившись, Григорий осторожно полез в глубину. Старое дерево гнулось и крошилось под ногами, заросшие мхом стенки были скользкими, снизу тянуло сыростью и холодом. Он упирался попеременно раскинутыми в стороны руками и ногами в короткие толстые бревна, обтесанные «в лапу», и спускался по углу колодца. Босые ступни несколько раз соскальзывали. Ему чудом ногтями удавалось удерживаться на гниющих брёвнах. Сердце бешено стучало от напряжения, выскакивая из груди. Но Григорий упорно спускался в полумрак, где на маленьком островке из старых бревен сидел испуганный и продрогший ребенок. Достигнув завала, на котором, дрожа всем телом, притулился Степка, и сильным ударом правой пятки проломив гнилое бревно, он зацепился ногой в проломе, поставил на завал левую ногу и резким рывком схватил на руки мальчонку. Завал затрещал и стал медленно погружаться в мокрый песок, увлекая за собой и их. «Господи, помоги!!» – мысленно взмолился Григорий. Неимоверным усилием рук пересадив мальчика себе на плечи, парень ногами подминал под себя опускающееся вниз гнилье. Мокрый песок перестал впитывать воду и она стала потихоньку прибывать. Когда Григорий уже стоял по колено в воде, сверху раздался встревоженный голос Татьяны Ивановны:

- Степа! Степочка!
- Бабушка, я тут, меня дядя Гриша вытаскивает! – прокричал Степка в ответ.

«Эх! Дурак я, дурак! Даже ножика и того не взял», – невесело размышляла спасатель, пытаясь обрести опору для ног.

– Гриша! Гриша! – заволновалась наверху Татьяна Ивановна. – Чем тебе помочь?

- Ножик нужен или чего-нибудь острое!

– Ой, надо в деревню бежать!! Господи, да что же это такое!! Ничего не взяли... понесли как угорелые дак... – запричитала старушка. И вдруг обрадовано прокричала: – Ножницы есть большие, я ими лук обрезала!

Ловко поймав брошенные вниз ножницы, Григорий воткнул их в промежуток между бревнами сруба, приспособив как жердочку. Упершись спиной в противоположную стену, он ловко поставил на ножницы ногу и подтянулся кверху, зацепившись рукой за проделанный ранее проём в гнилушке. Сидевший на плечах Степка испуганно намертво вцепился в шею «эвакуатора», отчего дышать стало почти невозможно. Кое-как ослабив объятия ребенка свободной рукой, Григорий вытащил погнутые ножницы и снова вонзил их в следующее бревно. Под причитания и слёзные молитвы бабушки Тани, сбивая в кровь пальцы, пронзая кулаком гнилушки венцов и переставляя «жердочку», он, наконец, долез до предпоследнего бревна сруба. Чумазая Степкина мордашка показалась из ямы. Татьяна Ивановна ухватила внука за воротник, и вместе с подоспевшим Колькой они стащили его на землю с побагровевшей, с вздутыми от натуги венами шеи Григория. Свободный от ноши, «спасатель» рванулся было и сам выскочить из колодца, но обессиленные ноги соскользнули с влажных брёвен, и он рухнул вниз. Вслед полетела и неловко задетая «жердочка». В правой ноге что-то хрустнуло, и тело прожгла острая пронзающая боль. Опять оказавшись в холодной воде, которая за время «спасательной операции» прибыла уже почти до пояса, Григорий из последних сил подтянулся на руках и держался на весу, упершись левой пяткой и спиной в противоположные стены сруба. Наверху голосили Колька со Степкой, сокрушалась и охала Татьяна Ивановна, безудержно лаял Бантик.

- Дя-дя Гри-и-иша-а! Держись! Не утони!

- Ой-о-ой, че делать-то??

– Робяты! – прокричал из-под земли «пленник». – Чего урвелись-то без толку? Бегите быстрее на поле, мужики рожь убирают на котором, за угором-то к Родникову! Да пускай веревку возьмут!

Отерев зареванные физиономии низом футболок, ребятишки пулей припустили за подмогой.

– Как ты, Гришенька? – тревожно спросила баба Таня, с опаской заглядывая в яму.

– Я-то ништяк, бабка Таня, а вот ножницы-то твои того, тю-тю, утопли... – как можно беспечнее отозвался «невольник ямы».

– Да и хрен с ими-то! Вот тебя-то, соколик, как топеря выручить? Господи, помоги! – отвечала бабушка Таня, промокнув кончиком головного платка подступившие слезы. – Скоро ли добегут-то робятишки, почитай, пять километров-то до поля...

- Ничего, добегут, они бойкие! Кабы не нога, дак сам бы выкарабкался.

Время не текло, а капало. Долгими, растянутыми в бесконечные минуты каплями. Повреждённая нога ныла сильнее и сильнее, держаться в подвешенном состоянии

становилось все труднее, и наступил момент, когда Григорий обессилено опустил все три точки опоры и возвратился на мокрую колодезную рухлядь. Сидя по пояс в мутной воде, он долго смотрел на проплывающие над срубом облака. Вспомнил, как говаривали старики, что в колодце даже днем могут отражаться звезды. Интересно, а правда ли, что когда человек уходит в небытие, его звезда падает с небосклона?

Наверху что-то горестно приговаривала бабка Татьяна, надсадно гудел случайно залетевший в колодец шмель. Боль в ноге становилась все ощутимее, и Гриша, стараясь отворотить от этой боли сознание, принялся мысленно рассуждать сам с собой: если у каждого на небе висит своя звезда, то, наверное, его, Гришкина, давно уже шатается, еще немного — и упадет?.. «Не жалко?» — вопрошал к себе Григорий. Смерти он не страшился. В Чечне повидал столько всего, что ничего уже не боялся. «Нет, не жалко, обидно только, что не так жизнь прожил, все ошибался да грешил», — ответил он сам себе и закрыл глаза. Вереницей потянулись воспоминания: выпускной, Катькины подрагивающие под накинутым пиджаком плечи, губы, пахнущие первой земляничкой, глаза с застывшими льдинками слез на перроне, обещания ждать... Потом письмо, нашедшее его в дальнем ауле и разрушившее все прежние представления о жизни, взорвавшее его сердце болью и обидой. Предательство Катьки изменило и его. С тех пор он жил словно в панцире. Снаружи для всех оставаясь прежним рубахой-парнем, а внутри... плескалось море непреходящей горести, превращая жизнь в бессмысленную для него «обязаловку».

— Ау-шки, Гриша, живой ли? — прервал воспоминания озабоченный голос бабы Тани. — Трактор вроде трещит... Едут, слава Богу!

— Живой! Че со мной сделается? — нарочито бодро отозвался он, чувствуя, как с новой силой возобновляется боль в ноге.

Звуки работающего двигателя приблизились, и, наконец, над головой раздалась прокуренные голоса колхозных механизаторов:

— Что, разведка, в засаду к водяному попал? Счас мы тя отобьем! Держи веревку! Руки-ноги-то целы?

— Частично! — ответил Григорий, превозмогая разливавшуюся по телу боль и обвязывая торс концом веревки. — Правая нога отказала, зараза!

— Хватайся! — крикнули над ямой. Крепкий канат натянулся и медленно пополз вверх, увлекая за собой истрадавшееся и заляпанное грязью тело.

Августовский закат полыхал вовсю, когда загипсованного «героя» мужики доставили на том же тракторе к родному порогу. Через несколько минут заря погасла, словно неведомая рука выключила гигантскую алую лампу, и над коньком родной крыши высыпали крупные гроздьи звезд. Прыгая на одной ноге, Григорий уселся на крыльцо, прижался спиной к прогретым солнцем за долгий день бревнам и уставился в небо. Он не знал, которая звезда была его, Гришкиной, и поэтому назначил своей маленькую, но яркую звездочку в середине ручки ковшика Большой Медведицы.

«Вот ведь как жизнь-то обернулась... — вдруг подумал он. — Степке-то я ныне нужон оказался, еще как нужон!! И матери ведь нужон, очень нужон! Что ж это я?»

— Да мы еще повоюем! Еще вся наша жизнь-то впереди! — произнес вслух Григорий.

Он, кряхтя, поднялся и попрыгал в избу. Под удивленным взглядом сидевшей на лавке матери доскакал до стола, ухватил за горлышко недопитую бутылку и вылил всю как есть в помойное ведро под ручной помойником. Потом возвратился тем же макаром на крыльцо, долго смотрел на августовский звездопад и, улыбаясь своей тихой и светлой радости, прошептал: «А моя-то не упала, удержалась...»

ЮДОЛЬ ЗЕМНАЯ

— Дю-ю-юдька-а-а-а, Дю-ю-ю-юдька-а-а-а!

Отчаянный детский голос катался по вершинам елок и падал к подножию угора, на котором стоял Андрюшка. Утирая ладонями мокрые щеки, он битый час пытался исправить ужасную несправедливость, снова случившуюся в его мире. Упрямо карабкаясь в огромных дедовых валенках по утреннему мартовскому насту к вершине холма, мальчишка снова нес в сердце под продуваемым весенним ветром пальтишком надежду. И снова эта надежда таяла с каждой минутой, слезными каплями стекая в снег.

— Дю-юдечка-а-а-а!

Эхо исчезало в голубом небе, оставляя после себя звенящую тишину. Залитое солнцем безбрежное белоснежное равнодушно окружало маленькую худенькую фигурку. Покричав еще немного, Андрюшка беспомощно махнул рукой и плашмя повалился на ледяную корку. К горлу подкатил противный ком, и, стараясь освободить дыхание,

мальчишка сначала тоненько всхлипнул, а потом и вовсе зарыдал. Когда слёзы иссякли, он перевернулся на спину и долго смотрел в высокое безоблачное небо, перебирая в памяти события своей десятилетней жизни.

В деревню к бабушке с дедом он переехал жить ещё малышом после того, как остался без мамы. Взрослые сначала говорили ему, что она уехала в долгую командировку, а потом признались, что погибла в больнице от анафилактического шока. Что это такое, он не ведал, поэтому в глубине души все же надеялся, что она когда-нибудь да вернется из той бесконечной командировки.

В начале прошлого лета, когда на пригорке возле деревни зацвела земляника, дед Василий Матвеевич вернулся из дальнего леса с корзинкой опенков, загадочно улыбаясь и пряча лукавинку в добрых серых глазах. Бабушка Анна встретила его в сенцах и добродушно спросила:

— Чего это ты, отец, такой мудрёный? Али добыл че занятное?

— Да вот, мать, ноне какая ишо у меня добыча, — ответил дед, доставая из-за пазухи маленький серовато-коричневый комочек, посверкивающий круглыми голубыми глазенками.

— Батюшки! — всплеснула руками старушка. — Да ить это волчонок! Андрейка, гляди, чё дед-от приволочъ удумал! — позвала она внука.

Мальчишка выскочил на порог и удивленно уставился на мохнатое чудо в дедовых руках. Дикий щенок был «одет» в густой, довольно длинный мех с подшерстком, поэтому выглядел пушистым колобком. На крепкое упругое тельце была «посажена» широколобая голова с острыми ушками. Очень выразительная вытянутая мордочка с темными полосками сочталась с почти белыми щечками и светлыми пятнами в области глаз. Пальчики мягких лапок соединялись перепонками. Длинный толстый хвостик трогательно свисал вниз.

— Деда! Какой хорошенький! А мамка у него есть? А ты его насовсем принёс? — восторженно зачастил Андрюшка, схватив волчонка и подняв его перед собой на вытянутых руках. — А как мы его звать будем?

— Как жо, навовсе... Еще чего не хватало! Рази волкам место в дому? Тащи его, старрой, назад! — отозвалась на восторги бабушка Анна. Дед молча смотрел на радостного внука. — Оглох, чё ли? Чё молчишь-от? Кому говорю? — дед Василий отмалчивался. — Ну, дюдька!!! — раздраженно прокричала бабушка.

Волчонок вдруг недовольно твякнул и забарахтался в Андрюшкиных руках.

— Ишь, откликается! — хохотнул Матвеевич. — Дюдька! Звать его будем Дюдька! Ладно, мать, не серчай! Сосунок ведь совсем! Пропадет один-то! В логу я его приметил. Под корнями старой сосны хоронился. Видать, из логова вылез да и заплутал. А матери, всяко, не до него было. Поди, ещё штук пять таких у неё в помёте. Или дыма испужалась, там рядом кострище осталось. Волки, они страсть как дым не любят. Пущай у нас пока погостит!

Так у Андрейки появился необычный мохнатый дружок-неразлучник. Всегда и всюду были они вместе. Днями напролёт играли, прыгали по двору, а убежавшись, засыпали на сеновале в обнимку. Даже деревенские собаки, поднимавшие раньше безудержный лай, лишь только учуяв Дюдьку, постепенно привыкли к нему, а коты так вообще не обращали на него никакого внимания. Волчий детёныш почти ничем не отличался от детёныша собачьего. Он с удовольствием пил молоко козы Зойки, лопал овсяную кашу и картофельную тюрю, грыз яблоки и рос как на дрожжах. Сам себя приучал к охоте, нападая на землероек, мышей и лягушек, щедро предлагая другу отведать добычу. Андрейка, смеясь, отказывался:

— Не-е, я такое не ем!

С августовскими холодными утренниками маленький хозяин перебрался ночевать в избу, а Дюдька в подклеть крыльца. В сентябре Андрюша пошёл в четвертый класс. В первый учебный день на Дюдьку надели ошейник и привязали на длинную прочную веревку к бельевому столбу. Дюдька сначала утрюмо лежал на земле и скулил, а потом острыми клыками попытался перекусить верёвку. Но дед Василий вовремя это заметил, и нарушитель был посажен на тяжелую металлическую цепь, оставшуюся от безвременно погибшего весной под колесами трактора дворняги Шарика. Потихоньку юный волк смирился с необходимостью своих временных уз и всякий раз встречал Андрейку как освободителя радостным визгом. Однажды Дюдька спас бабушку Анну от соседского петуха, неожиданно атаковавшего старушку посреди двора. Подскочив, волчонок слегка прикусил расхраб्रившегося забияку за ногу и отнес к калитке. Петю хватил удар, и соседка долго ворчала на бабушку, будто это она «виновата первая». К началу зимы Дюдька возмужал, превратившись в молодого серого хищника на крепких лапах с тупыми когтями, обтекаемой грудью, покатою спиной, с колоритной массивной мордой, обрамленной темными «бакенбардами». Глаза поменяли цвет на желтый. Внешне — волк, внутри он оставался ласковым и добрым созданием. Он лю-

бил домочадцев, и они отвечали тем же. Дед Василий соорудил ему вольер, освободив от цепного плена. Подчиняясь голосу природы, долгими зимними вечерами Дюдька иногда негромко выл. Правда, Андрюша был уверен, что это он так пел, потому что диапазон волчьего голоса представлялся в разных вариациях: от лая, воя, рычания до визга. Бабушка Анна шугала зверя, оправдывая:

– Тоскует по лесу, подругу ему надо...

Видимо, кому-то из деревенских все-таки надоело слушать Дюдьку, и месяц назад ранним утром вольер оказался открытым. Цепочка глубоких равномерных следов на снегу вела в ельник под угором.

Андрейка горевал шибко. Каждый день он бежал на угор и звал друга, сжимая в руке любимое его лакомство — вареное куриное яйцо. Бабушка сначала останавливала внука присказкой «сколь волка не корми — все равно в лес смотрит», уговаривала перестать ждать, обещая завести «какого хош щенка». Но мальчик упорно ежедневно звал и ждал на вершине угора. Сегодня бабушка даже спрятала его валенки, и поэтому ему пришлось идти в старых дедовых, неуклюже переставляя сразу ставшие тяжелыми ногами. Он очень устал, тягостно поднимаясь наверх. И опять, выходит, зазря...

Яркое весеннее солнце ласкало теплыми лучами зареванное лицо. Было очень интересно лежать рассматривать радужные блики сквозь прикрытые мокрые ресницы. Андрюшка и не заметил, как задремал. Ему привиделась мама. Будто спешила она, раскинув руки, к нему по земляничным россыпям, а рядом с ней бежал, подпрыгивая от нетерпения, Дюдька, большой и сильный. Андрейка ринулся ей навстречу. Мама схватила его в охапку и зацеловала, отдавая горячим дыханием. Когда Андрюша открыл глаза, над ним стоял Дюдька, и, повизгивая, облизывал его щеки. Не веря себе, мальчишка обнял зверя, зарылся лицом в мускулистый шерстяной бок и снова заплакал, теперь уже от счастья. Потом торопливо порылся в кармане и протянул на ладошке размятое, раздавленное яйцо.

– Пойдем домой, Дюдька! Я так ждал тебя! Где же ты был так долго?

Пока спускались вниз, серый друг шагал рядом с мальчуганом, преданно заглядывая в глаза и облизывая его руку. У подножия волк вдруг остановился, развернулся назад и встал как вкопанный, подняв морду кверху. На вершине холма стоял ещё один такой же лесной житель, только более поджарый, с более тонкой шеей, узкой мордой и лбом. Дюдька коротко рывкнул, лизнул Андрюшку в нос и медленно стал подниматься по насту.

– Дюдька! Дюдька! Вернись! — кричал вслед мальчик. Но зверь все поднимался и поднимался и вскоре скрылся из вида.

Опустошенный новой потерей, вконец обессиленный, Андрей кое-как добрался до дома. Сил раздеться уже не осталось, поэтому он, как был, заснеженным опустился на широкие половицы сразу за родным порогом и прошептал заледенелыми губами:

– Деда, Дюдька со мной простаться приходил... — потом, подумав немного, добавил: — И мама — тоже...

Дед обеспокоенно заглянул в заплаканные глаза как-то враз повзрослевшего внука, отнес его на кровать, раздел, укрыл одеялом и долго-долго гладил по спутанным курчавым, как у матери, волосам, ни о чем не спрашивая.

СМОРОДИНОВОЕ СЕРДЦЕ

Трехмесячный Егорка «каляганился» на широкой, с вышитыми подвесами кровати — дрыгал ручками и ножками и пускал пузыри. Светлые глазки таращились на потолок, пухлые губки забавно причмокивали. Он был такой хорошенький, что у Валентины запершило в горле. Она слотнула подступивший комок и вдруг зарыдала в голос. Младенец сморщился и захныкал. Женщина взяла его на руки, забаякала: «Не плачь, зайныка мой!» Ребенок успокоился и смолк. За Валиной спиной скрипнула дверь, и в горницу зашла теперь уже бывшая ее свекровь. Анна Анисимовна Романова совсем не удивилась гостье. Она присела подле стола, сложила руки на столешнице и горестно вздохнула:

– Валюша, что же с чадушком будет? Каково без матки-то эдакой крохе?

– Не сирота он ведь... отец у него есть, — ответила Валентина, вскинув глаза.

– Так-то оно так. Токо отец — не мать, — кивнула Анисимовна.

Еще утром Валя и подумать не могла, что будет держать на руках сына своего мужа Мишки. Три года назад, после развода, разбежались они в разные стороны. Их повзрослевшие дочери уехали в город, Валентина осталась одна. Михаил перебрался жить в дом к матери на центральную усадьбу колхоза. За эти годы они ни разу не свиделись. Валентина работала зоотехником на отдаленной ферме, а Михаил завербовался на се-

верную стройку. Оттуда и привез Мишка новую беременную жену. Деревенские кулачки в первый же день известили на ферме о сем событии Валентину, расписывая «молодуху» во всех красках. По их словам, эта Наталья собой видная и умная, в Мишке — «души не чаёт», хоть и моложе на десяток лет. «Сарафанное радио» выложило информацию и, довольное, удалилось восвояси.

Обескураженная новостями, брела Валентина домой. Узкая тропка вилась через овражек, поросший клевером, окруженный кустами черной смородины. В юности это было сокровенным местом их с Мишкой встреч. В те давние дни он называл ее Смородинкой за большие темные глаза. В растрепанных чувствах Валя опустилась на траву.

Ароматы трав, стрекот кузнечиков, тихое движение вечернего ветерка в смородиновых ветках всколыхнули прошлое. И пережитое... Будто наяву услышала, как умолял муж, стоя перед ней на коленях: «Смородинка! Прости дурака! Пьяного бес попугал! Тебя одну люблю!» Опять увидела застывшие слезы в родных зеленых глазах: «Прости, бога ради!!!» Не простила. Гордость встала стеной меж ними. Сказала, как отрезала: «Уходи!» Одинокими ночами кусала от разрывавшей душу боли подушку, металась без сна. Но простить единственную ночь, проведенную на сеновале с городской девицей, перепившему на сельской свадьбе Мишке не смогла.

Вдруг вспомнились Мишкины губы, руки, голос. Горошины слез покатались в чашечки листьев клевера: «Люблю его, до сих пор люблю...» Дома до рассвета склеивала расстриженные ножницами половинки совместных фотографий. Чтобы смотреть и жить дальше. Валентина нагружала себя бесконечной работой, стараясь не думать о бывшем муже и его жене, но увидеть их очень хотелось. И это желание вдруг исполнилось невысказанно горьким образом.

Она разглядела «молодуху» на... прощании. Наталья умерла в родах, не выдержало слабое сердце. Ребенка спасли, мать — не смогли. Валя узнала о трагедии случайно, заехав в контору колхоза за накладными на корма. Секретарша председателя Лидочка, всхлипывая, сообщила ей печальную весть в пустом коридоре. Все ушли к Романовым. Пошла туда и Валентина.

В избе приторно пахло сердечными каплями, на лавке сидела фельдшерица, держа наготове чемоданчик с уколами. Над изголовьем усопшей, рыдая, склонилась интеллигентного вида женщина, рядом обхватил голову руками такой же солидный мужчина — родители Натальи. Сидевший у гроба Мишка окатил Валу своей бедой сверху донизу, просто подняв глаза. И такую безысходность, такую тоску она прочитала в них, что невольно содрогнулась. Шагнула к Михаилу и молча дотронулась до плеча. Он порывисто схватил ее ладонь и, крепко сжав, печально прошептал: «Горе-то какое, Валуша?! Как жить-то теперь?» Что она могла ответить, чем утешить? Просто стояла рядом и свободной рукой гладила его поникшую голову.

Потом в кухоньке за переборкой Анна Анисимовна, утирая фартуком бежавшие по морщинистым щекам слезы, поведала Вале, что мальчонка пока в «родилке», но скоро надо забирать, и что делать, она ума не приложит. Куда ей, старой, в няньки, а новоиспеченному отцу на работу надо возвращаться. Причитая и охая, она поделилась тем, что немолодого зятя эти «шишки» сразу невзлюбили, что свекруха винит его в гибели дочери. Валентина слушала горькие слова и всей душой жалела старушку.

Вскоре Михаил привез грудничка к матери и уехал обратно на стройку. Раз в две недели Анисимовне приходили почтовые переводы. Первое время нянчиться помогала Мишкина младшая сестра, учительница в городе. Но закончились каникулы, и бабушка Анна осталась с нелегкими хлопотами одна.

Егорка посапывал на руках. Валя с теплотой разглядывала знакомые черты: ямочку на подбородке, вздернутый носик, розовые ушки. Сердце закуталось в шаль нежности. Память услужливо пролистала картинки из младенчества дочек. Потом обожгла обидой измены. Усилием воли Валентина прогнала заворочавшиеся сомнения, поцеловала влажный лобик и сказала:

— Отдайте мне Егорушку, мама! Не чужой он мне.

— Валуша, родная! Молиться за тебя буду! Прости, бога ради! — вскинув на нее усталые глаза, прошептала Анисимовна.

— Да за что же прощать-то, мама? — выдохнула Валя.

Он уже почти бежал к калитке, так соскучился за этот год, так истосковался на северах. По двору, залитому солнечным светом, топал, держа в ладошке лист лопуха, белобрый карапуз. Дойдя до крыльца, малыш опустился на четвереньки, прополз по ступеням и, протягивая кому-то добычу, залепетал: «Ма-ма, ня...» Вышедшая навстречу женщина подхватила его на руки: «Спасибо, сыночек!» Михаилу на секунду показалось, что он спит. Тряхнул головой — видение не исчезло. «Смородинка...» — прошептало его сердце и запело.

ШКАТУЛКА СО СЧАСТЬЕМ

Дед Ляксандр лютовал. Вообще-то его звали Александр, но в деревне Богданиха, всех жителей которой, как говорила бабушка Поля, было «раз-два, да и обчёлся», уважительно величали Ляксандром Василичем. Его внуки, третьеклассники братья-близнецы Мишка с Гришкой, слышали громкую забористую ругань даже в самом дальнем углу сеновала. Битый час сидели сорванцы на корточках на копне душистого сена. Испуганными зайчатами прижались они друг к дружке и, втянув вихрастые белокрысые головы в загорелые плечи, тихомолком тарасились в щёлки между досками сеника, сколоченного напротив дома, и настороженно внимали брани.

— Полька, каверза! Сказывай, куды мунштук схоронила?! — шумел старик, высунув свободную от расчески голову из распахнутого окна, выходявшего на луковые грядки, залитые ярким июльским солнцем. Терпеливая бабушка Поля оторвалась от прополки, повернулась лицом к крикуну и ответствовала:

— Очень мне надоть! Не брала я твою соску! Ищы щетильнее, сам, поди, куды-то засунул, да и забыл, голова дырявая!

— Я уж обыскался весь, всё обрыл! Куды спрятала, баю?! Ты ить, этта, грозилась выкинуть!! О здоровье моем, видите ли, она печётся! — ехидничал старый, язвительно покачивая плечами и распаяясь все сильнее и сильнее.

Бабка Поля огорченно всплеснула руками, бросила в борозду облепленную черной землей тяпку и подошла поближе к дому.

— Да что б тебя! Чё халестишься-то! Кур вон распугал! Как оглашенные по загородке спуют! Поди, закатился куды, — незлобиво ворчала она, поправляя цветастый ситцевый платочек на аккуратной седой голове, неторопливо продвигаясь к крыльцу.

Когда бабушка скрылась за дверями дома, мальчишки оторвались от досок и, растянувшись на дурманяще пахнущей сухой траве, задумались: «Чего теперь делать-то? Как деда утихомирить? Поди, всё ещё орёт на неповинную бедную старушку? А виноваты-то — они, Мишка с Гришкой! «Соску»-то эту они ухайдакали. Не нарочно, конечно...»

Каникулярное летнее утро сегодня опять выдалось добрым. Когда братья проснулись, в горнице с широко открытыми створками окон никого не было. По сосновому полу, сделанному из добротных, очень плотно пригнанных друг к другу толстенных досок, покрытых домоткаными половиками, радостно прыгал солнечный зайчик. На большом дубовом столе, застеленном кружевной скатертью, стояли две кружки молока и закрытая вафельным полотенцем эмалированная миска, доверху наполненная тёплыми пышными оладьями с масляной корочкой. Шустро слопав завтрак, Мишка с Гришкой собрались уже бежать играть во двор, но тут их внимание некстати привлек дедушкин старинный мунштук, одиноко лежавший на щелеватом, выкрашенном блестящей белой краской подоконнике.

Увидев оставленный без присмотра раритет, Гришка взял интересную штучку и принялся рассматривать, поворачивая в разные стороны. Потом засунул «соску» в рот и шумно вдохнул в себя чуть горьковатый воздух, изображая курильщика. Тем временем к брату подскочил Мишка, выхватил у него трубку и понесся к входным дверям, намереваясь вымахнуть в сени. Но почти у самого порога запнулся за сбитый половик и грохнулся на пол. Мунштук выпал из руки, покатился по гладкому полу и угодил прямо в кошачий лаз, ведущий в подпол. Ребятишки опрометью бросились по небольшой лесенке вниз. Включив свет, они излазили погреб вдоль и поперёк, прощупали руками всю землю под лазом и рядом. Ничего... Когда в сенях раздался знакомый кашель, шкодлики пулей пронеслись по лесенке обратно наверх. Едва успели выключить свет и захлопнуть дверь в голбец, как столкнулись с дедом на пороге. Стремглав озорники выбежали во двор и спрятались на сеновале. И, похоже, сидеть им теперь тут до скончания века...

Дед Ляксандр очень дорожил мунштуком, и потому эта трубка обычно была недосягаема для обозрения кому-либо. Когда он не смолил махорку, вещьца убиралась на самый верх высокой кухонной горки, старинного узкого шкафа со стеклянными дверцами, украшенного витиеватыми деревянными узорами и наполненного разнообразной чайной посудой.

Мунштук дед унаследовал от отца, гвардии рядового пехоты Василия Авдеева, прошедшего всю войну от Москвы до Берлина, до самой Победы. На фронте гвардеец оставил левую руку и спокойный сон. После госпиталя осенью сорок пятого вернулся домой и всю последующую недолгую жизнь трудился в колхозе сторожем, бесконечно попыхивая долгими бессонными ночами необычным немецким трофеем, заряженным ядрёным самосадом. Фрицевская диковинка представляла собой небольшую, длиной чуть более десяти сантиметров, круглую полу трубочку. Она состояла из двух

частей: темного деревянного наконечника и серебряной части в замысловатых узорах, в которую вставлялась папироса. Части соединялись между собой специальным креплением — кольцом, тоже серебряным.

Когда Сашка вырос, мать отдала отцовскую память сыну. С тех пор он тянул папиросы или махорку только с мундштуком: вкус табака становился немного мягче, а ещё в трубочке задерживалась горькая крошка от самокруток. Поначалу молодая жёнушка Полинка выговаривала ему за вредное пристрастие, потом за долгие совместно прожитые годы смирилась с мужниной привычкой. Но в последнее время, накурившись, Василий всё чаще стал подолгу надсадно кашлять, и баба Поля грозилась выбросить куда подальше дедову «свистульку». Теперь вот она и вправду куда-то запропастилась...

— Угомонись, батько! Давай почаевичаем с вареньем клубнишным али чернишным, какое тебе боле глянется. А там и соску-то твою авось и сыщем, — мягко уговаривала Полина Андреевна мужа, который стоял у окна и нервно барабанил заскорузлыми от бесконечной работы, жёлтыми от табака пальцами по подоконнику. — Опосля, може, и вспомянешь, куды задевал-то, — доброжелательно проговорила она, вставляя граненый стакан в любимый дедом мельхиоровый подстаканник. И то ли от спокойных негромких слов, то ли от ласковой руки, легонько погладившей его по спине, но дедов запал кончился. Старик протяжно вздохнул и присел к столу.

Они допивали по второй чашке ароматного чая, когда в горницу заявились внуки. Чумазые и испуганные предстали перед ними Мишка с Гришкой. Опустив глаза в пол, неловко перебивая друг друга, горестным полушёпотом поведали они о своей промашке. Мишка для пущей жалости даже выжал из левого глаза крохотную слезинку, и она скатилась по грязной щеке, оставляя узенькую мокрую дорожку.

К изумлению близнецов, дедушка нисколько не рассердился, выслушав их, не грозил пальцем, не говорил строгих неприятных слов. Напротив, им даже показалось, что он чуть заметно улыбнулся, когда поспешил подняться из-за стола и выйти в коридор. Через минуту остро наточенным топором дед подцепил выщербленные временем края половиц, в которых был выпилен лаз. Половицы со скрипом поднялись, и взору предстало покрытое густой серой пылью небольшое пространство. Василий ловко пошуровал в нём рукой и, довольный, вытащил свой мундштук.

— Я ить ишо мальцом помогал бате пол от этот устраивать, половицы клали за всегда вдоль избы, от входа к передней стене. Их стелили на переводины — толстые бревна, врубленные в нижние венцы сруба, и под верхним «чистым» полом находился нижний — «черный». И как я запамятовал? — сокрушался дед Ляксандр, складывая в пригоршню пушистый пыльный налёт, покрывавший потемневшую древесину.

Негаданно-нежданно в ладонь вместе с пылью опустилось маленькое серебряное колечко с крохотной жемчужинкой. Точно такое же надел наречённый жених Сашка на тоненький пальчик красавицы Полинки полвека назад. Дед удивленно хмыкнул и вопросительно глянул на бабушку Полю.

— Топере, батько, и я повинюсь, — неожиданно грустно проговорила она.

— Я ить перстенёк от обручальный тожа в лазу посеяла, когда через мисяц после свадьбы за картошкой в голбец полезла. Помнишь, великоват мне он малость был, вот и спянула ненароком. Уж как я его искала-то! Всю-то землю перерыла, а он, гли-ко, вон куды закатился, разве подумаёшь?! Ревела тайком целую неделю. Ведь поверье сказывали, что кольцо потерять — счастья не видать. Тебе побоялась правду-то открыть. Слукавила, что в шкатулочку, морскими ракушками облепленную, ту, что ты мне подарил, убрала, чтоб не потерять. А опосля всё уж и забылося за делами-то. Так всю жизнь и проносила то первое медное, которое ты мне из пятака смастачил. Теперь-то уж давно сняла — пальцы дрябнуть стали. А в ларчике том из драгоценностей до сих пор волосики да рубашечки крестильные робятишковые только и лежат. Ой, да ещё Танюшкин молочный зубик! Враки всё, выходит, про кольцо-то! Ведь так жизнь прожить, как мы с тобой прожили, не каждому дается. Робили от зари до зари, детушек подняли, внуки вон какие у нас славные! Счастливая я, Санушко! — дрожащим голосом закончила свой монолог баба Поля и отерла кончиком фартука заслезившиеся вдруг глаза.

Ляксандр Василий, кряхтя, поднялся с пола, отер о штанины грязные руки, дыхнул на находку и покатал её по рукаву рубашки. Потом шагнул к бабе Поле, взял её нагруженную, покрытую синими нитками вен руку и надел перстенёк на чуть дрожащий мизинец. Обернулся к внукам, подмигнул и весело и звонко чмокнул жену в родную морщинистую щеку:

— А уж я-то какой счастливый, душа моя!

Не в силах сдерживать восторга от того, что кругом всё так хорошо, Мишка с Гришкой запрывали вокруг обнявшихся деда с бабой и закричали:

— И мы!! И мы — тоже! Очень счастливые!!

НЕТАЮЩИЙ СЛЕД

Пшеничное поле поёт-заливается невообразимым хором кузнечиков. Августовское солнце потихоньку скатывается за поросшие начинающей желтеть травой угоры. Васильковое тарногское небо окрашивает малиновым цветом тающий в выси самолетный след. Босые ноги легко ступают по тёплой, покрытой ласкающей пылью тропинке, проложенной меж густых, выше моего роста, налитых спелостью колосьев. Я шагаю из магазинчика, который местные жители называют лавкой, в деревне Старый Двор, опустошая мало-помалу пакет с мятными пряниками. Там, за верхней границей созревшего поля, на самой высоте подъема примостилась деревня моих предков Горка. Мы с мамой здесь в гостях. Крепкий вековой пятистенок, третий от околицы, встречает меня весело поблескивающими в лучах заката окнами, щедро украшенными резными наличниками. У нижних, потемневших от времени венцов избы, притулилась такая же древняя лавочка, на которой уютно устроились деревенские жительницы и моя мама Лида. Бабушка Августа Степановна, маленькая, щупленькая, «божий одуванчик», прикрывая домиком сухонькой ладошки от ярких закатных лучей выцветшие светло-голубые глаза, приветливо произносит:

— Здорово живитё, соколёна! Гли-ко, благодать-то кака у нас! Баско литико! Во-но-ко, паре, ноне какоё ведро стоит! Налызло в городу-то, поди-ко, воли-то экой нетутка?

Улыбаясь в ответ, плюхаюсь на скамейку рядышком с мамой. Она тихонько прижимает меня к себе, нежно гладит по иссиня-чёрным волосам и вздыхает:

— Чего и говорить, душа здесь отдыхает.. Всё знакомое, близкое. Только вот родных нет... Осиротила меня война.

Бабушка Анна Яковлевна, добрая, приветливая, никак не оправдывающая жесткого звания мачехи, живущая теперь одна в нашем родовом доме, легонько касается рукой мамино плеча:

— Да, Лидушка, она, проклятая, никого не щадила... Столь народу полегло... Пошта-льонка-то опосля боялась и в избы заходить... Принесёт письмо, сунёт под порог да и ходу. Ой, как получат матери-та похоронку да как загорланят... Душа так и обмирает.

На некоторое время наступает звенящая тишина, каждый думает о чём-то своём. Мамины глаза вдруг наполняются слезами.

— А я ведь помню, как папа на войну уходил. Мне тогда одиннадцать лет было, — дрожащим голосом произносит она. — Посадил меня на колени, обнял и говорит: «Ледень мой дорогой (он меня Ледешком называл), жди меня, не тужи, Анну слушайся». Поцеловал в лоб, косички поправил и ушёл. Навсегда, как оказалось... В бою у станции Мга под Ленинградом убили. А вот как мы похоронку получили, не помню... Только каждодневный бабий вой по деревне помню. Страшно вдовы выли, как волчицы раненые, а ребятишки малые как щенята скулили, а те, что постарше, молчали больше. Не верила я долго, слышала, что ошибаются иногда писари военные... Чуда ждала, да так и не дождалась...

Я, родившаяся через пятнадцать лет после Победы, слушаю горестные мамины слова, и сердце сжимается от жалости. Деда я видела лишь на старой пожелтевшей довоенной черно-белой фотографии. Коренастый, усатый мужчина в блестящих яловых сапогах стоял посреди домочадцев у своей избы рядом с молодой женщиной в длинном до пят домотканом платье с младенцем на руках и смотрел в объектив уверенным хозяйским взглядом.

— Люто тогда наших мужиков на войну затокарили. Знавала твоео батька, Лидёнка, знавала. Хороший человек был, Федор Иванович, труженик, каких поискать, — скорбно качает головой бабушка Августа. — Анна-то как извисьё об ём получила, слегла на нидилю, робетишкам-то не сразу и баяли товда.

Анна Яковлевна, поправляет седую прядку, выбившуюся из-под беленького, аккуратно повязанного по-деревенски плата, коротенько вздыхает и грустно добавляет:

— По каженному двору прошлась смертушка, почитай весь околоток стал вдовый... Тяжко порато было жить, одной-то с робетешками... Особливо в послевоенные голодные годы...

— Добро, хош сюды-то фриц не добрался, — произносит бабушка Августа, потирая ладонями вены, синими бугорками выступившие на натруженных руках. — А про-литать-то над нами сколь раз лётывали, ады кромешные.

— Помню, помню... Как окошки одеялами завешивали по ночам, чтобы ни лучика света от керосиновой лампы не проникло наружу. Гул страшный подымался, аж сердце в пятки уходило, — отзывается мама. — Заберёмся на печку и дрожим как осино-

вые листы, пока не улетят, гады...

Слушаю разговор, затаив дыхание. Мне, не знавшей войны, удивительно видеть и слышать живых свидетелей тех горестных лет.

Тихий августовский вечер заполняется фиолетовыми сумерками. Мама опять вздыхает:

— Павлика забрали, едва восемнадцать ему исполнилось... Без вести пропал, братишка. В апреле сорок пятого, в Венгрии где-то.

Анна Яковлевна гладит заскорузлыми ладошками свои ноющие колени, смотрит куда-то вдаль, вспоминая:

— Пауня добрый был парнишэцько, обиходный. А как угонили на войну, жив ли, нет ли — по сию пору ни висти, ни пависти...

По маминой щеке стекает слеза, и я тоже готова заплакать. Своего дядю Павла Федоровича я знаю только по фотоснимку, сделанному в избе, возле которой мы сидим: «истокапельно», как говорит бабушка Анна, похожий на маму молодой человек в солдатской гимнастерке крепко стоит на ногах, едва не доставая головой до матицы. Издана считалось, что матица — мать дома. Когда из дому уходил на войну или в армию парень, он держался на прощание за матицу (силы просил). Простодушный, открытый взгляд. Кряжистый, статный... Я вытираю пальцем мамины слезинки, утыкаюсь в родное плечо.

— Не плачь, мамочка! — прошу, смахивая уже со своих ресниц солёные капли.

— Оне на фронте — а мы здесь, как лошади ломили, и за себя, и за их. За день-от упахтаешься, торнешься на постелю без задних ног, а уж и спишь, у дыры вавдыри. А бригадир-от в окольничу батогом стукат, сызнова на роботу пора, — вспоминает Августа Степановна, зябко кутаясь в поношенную кофту.

— Знамо, поробили... Жизнь пролетела как один день. Скоро уж под березки увезут, — с легкой печалью вторит ей Анна Яковлевна.

Дружно вздохнув, обе собеседницы, как по команде, вытягиваются, расправляя затекшие спины и плечи.

— Нюр, а Победу-то помнишь? — неожиданно оживляется баба Августа. — Как Левитан-от из «черной тарелки» в сельсовете пробаял, чо тут началось-то?! Ору было... Кто ревит белугой, кто обрадел до плясок. А кто и ревит, и пляшет разом.

— Да как такое позабудёшь? — отвечает Анна Яковлевна. — Эстолько слёз и не упомню, когда было ишо. Гармонья играет, робятишки песни поют, а рядом вдовы воют... Почитай, никто из наших мужиков-то и не возвратился...

Сумерки густеют, терпко пахнет полынью, над белыми головками клевера у изгороди кружит травянушка. Вечер плавно перетекает в ночь.

— Пойдём-ка, дочка, почивать.

Мама поднимается с лавочки и протягивает мне руку. Бабушки тоже встают и расходятся в разные стороны. Августа идёт по тропинке к калитке, Анна поднимается по скрипучим ступенькам на крыльцо.

Мы с мамой обитаем в так называемом переду — летней избе, а бабушка Анна спит на печи в зимовке. Хорошо лежать на набитой душистой соломой перине под боком у мамы, смотреть в приоткрытые створки окошка на мерцание далёких звёзд, слушать неумолчный стрекот кузнечиков. В свои двенадцать лет я не могу даже представить себе, каково это потерять в два годика мать, сгоревшую в одночасье от желтухи, а в пятнадцать понять, что ты никогда больше не увидишь любимого отца и брата. Узнать, что надежда всё же умирает, пусть и последней, но умирает. Каково это — прожить сиротой всю жизнь? Сострадание к маме до краев заполняет мою душу, и я крепко-крепко обнимаю её...

Только спустя годы начинаешь по-настоящему ценить прошлое. Давно ушли в небытие бабушки Анна и Августа, унеся с собой дивный, неподражаемый тарногский говор. Обезлюдела деревня моего детства. Двадцать лет как нет на свете милой, бесконечно любящей меня мамочки. Затянулись раны войны на русской земле. Но шрамы в русской душе всё болят, и болеть будут вечно. Война осиротила не только поколение сороковых, она уязвила осколками прошлого и потомков, лишив их близких. У скольких из нас не случилось в жизни дедушек и бабушек, дядей и тётей, сестёр и братьев? Вспоминая беззаботные летние каникулы полувековой давности в Тарногском районе Вологодской области, я снова и снова возвращаюсь в былое. Мой род по мужской линии безжалостно прервала война. Но жизнь продолжается, сердце помнит и будет помнить всегда малую материнскую родину и образы родных людей, живших на этой земле и ушедших в бессмертие за Родину большую¹.

¹ Из Книги Памяти: Лихоманов Федор Иванович, 1898 г.р., рядовой, погиб 31.03.1942, место захоронения - Ленинградская обл., Кировский р-н, Березовская волость, мемориал «Новая Малукса»; Лихоманов Павел Федорович, 1925 г.р., красноармеец, пропал без вести в апреле 1945.